**Райнер Мария Рильке**

**ПЕСНЬ О ПРАВДЕ**

**(Из «Рассказов о Господе Боге» )**

 Когда я в следующий раз проходил мимо эвальдова окна, он кивнул мне и улыбнулся:

 - Вы что-то пообещали детям?

 - Как то есть? - удивился я.

 - Да вот когда я рассказал им историю о Егоре, они стали жаловаться, что Бог в ней так и не появляется. Я испугался:

 - Как, история без Бога, но также не бывает! - Потом я спохватился: - А ведь верно, о Боге, как я теперь вижу, моя история и в самом деле ничего не говорит. Не могу понять, как такое могло случиться; мне кажется, если бы кто-нибудь нарочно потребовал от меня такую историю, я за всю жизнь ничегоне смог бы придумать...

 Эвальд улыбнулся моей горячности.

 - Не нужно из-за этого огорчаться, - перебил он меня сочувственно, - я так думаю, никто не может знать, есть ли в истории Бог, пока не дослушает ее до конца. Ведь если в ней не хватает хотя бы двух слов, пусть даже одной только паузы после последнего слова, Он все еще может прийти.

 Я кивнул, и больной продолжал другим тоном:

 - Не знаете ли Вы еще чего-нибудь об этих русских певцах?

 Я помедлил:

 - Может быть, поговорим лучше о Боге, Эвальд? Он покачал головой:

 - Мне хочется побольше узнать об этих необыкновенных людях. Не знаю почему, но я все время думаю: если бы кто-нибудь из них вошел сюда, в мою комнату... - он Повернул голову, посмотрел на дверь. Но его взгляд тотчас вернулся, не без некоторого замешательства, ко мне. - Хотя как бы это могло быть, - поспешил он прервать свои мысли.

 - Почему же нет, Эвальд? С Вами может произойти многое, что недоступно людям, владеющим своими ногами, потому что они проходят мимо стольких вещей и от стольких убегают. Бог положил Вам, Эвальд, быть тихим местом посреди всей этой спешки и суеты. Разве Вы не чувствуете, как бурлит все вокруг Вас? Другие гоняются за своими днями, и если им вдруг удается настичь какой-нибудь из них, они уже не могут отдышаться, чтобы сказать ему хотя бы слово. Вы же, мой друг, просто сидите у Вашего окна и ждете, а к ожидающим непременно что-нибудь, да приходит. У Вас совершенно особая участь.

Подумайте - даже Иверская Божья Матерь, что в Москве, то и дело покидает свою часовенку и в черной повозке, запряженной четверкой, едет к тем, кто празднует крестины или оплакивает смерть. К Вам же должно прийти все.

 - Да, - сказал Эвальд с отрешенной улыбкой, - я не могу выйти навстречу даже смерти. Многие люди находят ее в пути. Она боится входить в их дома и вызывает их наружу - на чужбину, на войну, на высокую башню, на шаткий мост, в нехоженые леса или в безумие. Или же, как бывает чаще всего, отыскав ее где-то, они приносят ее потом на плечах домой, не замечая этого. Потому что смерть ленива; если бы люди не тревожили ее без конца, кто знает, может быть, она бы давно уснула.

 Больной на минуту задумался, потом продолжил с некоторой гордостью:

 - Но ко мне-то ей придется прийти, если я ей нужен. Прийти сюда, в мою маленькую светлую комнату, в которой так долго не вянут цветы, пройти по этому старому ковру, мимо этого шкафа, между столом и краем кровати (все это не так легко), подойти к моему милому, старому, широкому стулу, который, видимо, умрет вместе со мной, потому что, можно сказать, и жил со мной. И ей придется проделать все это, как это делается обычно: без шума, ничего не опрокинув, никак не нарушая привычного порядка, словно в гостях. Благодаря этому моя комната мне как-то особенно дорога. Ведь все разыграется здесь, на этой тесной сцене, и потому это последнее событие не так уж сильно будет отличаться от всех остальных, что здесь уже произошли или еще предстоят. Мне всегда, еще с детства, казалось странным, что люди говорят о смерти не так, как о других вещах, и это лишь потому, что никто еще не рассказал, что было с ним потом. Но чем отличается умерший от человека, который отказался от времени и уединился. чтобы по-настоящему, всерьез подумать о чем-то, что требует решения и что уже давно его мучит. Среди людей едва ли вспомнишь даже "Отче наш", тем более - какую-нибудь скрытую связь, и может быть, не слов, а событий. Для этого нужно куда-то удалиться, в какую-нибудь

недоступную тишину, и возможно, мертвые - это как раз те, что ушли, чтобы подумать о жизни.

 Наступило молчание, которое я прервал следующимисловами:

 - Мне вспоминается одна юная девушка. Первые семнадцать дет своей безмятежной жизни она, можно сказать, только смотрела. Ее глаза были настолько велики и настолько самостоятельны, что все, что они получали из мира, они оставляли себе, а жизнь ее юного тела шла независимо от них, питаясь лишь тихим стуком сердца и шорохом крови. Но вот какое-то слишком резкое событие разрушило эту двойную, почти неподвижную жизнь; глаза словно бы прорвались, и мир, что был снаружи, всей своей тяжестью хлынул сквозь них в темное сердце, и каждый день с такой силой обрушивался в глубокий, словно колодец, взгляд, что разбивался в тесной груди вдребезги, как стекло. И девушка стала бледнеть и чахнуть, она постоянно уединялась и молчала, и наконец сама отыскала ту тишину, в которой ничто уже, по-видимому, не мешает думать.

 - Как она умерла? ~- спросил мой друг несколько хриплым голосом.

 - Она утонула. В глубоком, тихом пруду; по его поверхности пошли круги; они, медленно расширяясь, прошли под белыми кувшинками, так что эти плавучие цветы беззвучно заволновались.

 - Это тоже история? - спросил Эвальд, чтобы тишина после моих слов не стала слишком сильной.

 - Нет, - ответил я, - это чувство.

 - А можно ли его передать как-нибудь детям - это чувство?

 Я немного подумал:

 - Наверно...

 - А как?

 - С помощью другой истории.

 И я начал рассказывать:

 - Это было, когда южная Русь сражалась за свободу.

 - Простите, - сказал Эвальд, - как это понимать:

 может быть, народ хотел избавиться от царя? Это не вяжется с тем, что я думаю о России, да к тому же противоречит Вашим прежним рассказам. Если так, то я предпочел бы не слышать Вашей истории. Потому что я люблю представление, которое я составил себе об этой стране и не хочу, чтобы оно как-нибудь пострадало. Я улыбнулся и успокоил его:

 - Польские паны (мне надо было сказать об этом сразу) владычествовали на юге Руси и в тех тихих, безлюдных степях, что зовутся Украиной. Это были жестокие владыки. Их гнет, а также алчность евреев, которые захватили в свои руки даже ключи от церкви и только за деньги давали их православным, сделали юношей вокруг Киева и по всему Днепру усталыми и печальными. Сам город Киев, святое место, в котором Русь впервые поведала о себе золотым сиянием четырехсот куполов, все больше замыкался в себе и терзал себя бесконечными пожарами, словно шальными мыслями, что оставляют после себя лишь безбрежную ночь. В степи народ толком не знал, что произошло. Но, охваченные странной тревогой, старцы выходили по ночам из своих хижин и молча вглядывались в высокое безмолвное небо, а днем какие-то фигуры вдруг вырастали на курганах, что возвышаются над бескрайней равниной, как будто ожидая чего-то. Эти курганы - могилы древних племен - покрывают всю степь, словно застывшие и уснувшие волны. И в этой земле, где могилы - как горы, люди - словно бездны. В их глубинах темно и безмолвно, а их слова - лишь тонкие, шаткие мостики над их настоящей жизнью. Иногда темные птицы взлетают с курганов. Иногда причудливые напевы падают в людей и исчезают в их глубине, а птицы теряются в небе. Все безгранично, куда ни посмотри. Даже дома не укрывают от этой безмерности; их маленькие окошки полны ею. Лишь в темных углах стоят древние иконы, точно Божьи верстовые столбы, и свет от тусклых лампадок бродит в них, как заблудившийся ребенок в звездной ночи. Эти иконы – единственная опора, единственный надежный знак на пути, и ни одна семья не обходится без них. В любой момент может потребоваться та или иная: когда, подточенный червями, рушится старый дом, когда кто-то женится и строит себе новый, или когда кто-то, как, например, старый Абрам, желает умереть с образом Николая Чудотворца в руках - видимо, для того, чтобы, сличая с ним святых в небе, не пропустить самого почитаемого из них.

 Вот и Петр Акимович, деревенский сапожник, тоже пишет иконы. Когда он устает от одной работы, он переходит, трижды осенив себя крестным знаменьем, к другой, и его шила и молотки окружает то же благочестие, что и его кисть и краски. Он уже стар, но держится довольно бодро. Подолгу сгибаясь над сапогами, он вновь распрямляется перед картиной и так сохраняет хорошую осанку и необходимое равновесие в плечах и пояснице. Почти всю свою жизнь он провел один, не вмешиваясь даже в хлопоты когда его жена Акулина рожала ему детей, и когда они умирали или женились. Лишь на семидесятом году Петр сблизился с теми, кто еще оставался в его доме, и чье существование он, казалось, заметил только теперь. Это были: Акулина, его жена, незаметная смиренная женщина, всю себя отдавшая детям, старая безобразная дочь и Алеша, сын, родившийся необычно поздно - ему шел восемнадцатый год. Петр хотел научить его иконописи, потому что видел, что скоро уже не сможет выполнять все заказы. Однако от учения пришлось отказаться. Алеша написал Пресвятую Деву, но его работа оказалась так далека от строгого верного образа, что скорее походила на портрет Марианны, дочери казака Голокопытенко, стало быть, на что-то плотское и греховное, так что Петр поспешил, многократно перекрестясь, изобразить на оскверненной доске святого Дмитрия, которого он, неизвестно почему, ставил выше всех святых. Алеша тоже не пытался больше писать. Если отец не велел ему позолотить нимб на новой иконе, то он обычно пропадал где-то в степи, никто не знал, где. Домашние его не удерживали- Мать дивилась на него и не решалась с ним говорить, словно он был чужой или чиновник. Сестра часто била его, пока он был маленький, а теперь, когда он вырос, стала презирать его за то, что он никогда ее не бьет. И во всей деревне до парня никому не было дела.

Марианна, казачья дочь, лишь посмеялась над ним, когда он сказал ей, что хочет на ней жениться, а других девушек Алеша и не спрашивал, согласятся ли они пойти за него эамуж. И на Сечь, в Запорожье, его никогда не брали, лотому что он казался слишком малосильным, да пожалуй слишком юным. Однажды он убежал в ближайший монастырь, но и монахи его не приняли - и тогда у него сталась одна только степь - бескрайняя, волнующаяся степь. Когда-то давно один охотник подарил ему старое ружье, одному Богу ведомо, чем оно было заряжено. Алеша всюду носил его с собой, хотя так ни разу из него и не выстрелил - во-первых, потому что берег выстрел, а во-вторых, потому что не знал, зачем.

 Как-то раз тихим июньским вечером все сидели за дощатым столом, на котором стояла миска с кашей. Петр ел, остальные смотрели на него и ждали, что он им оставит. Вдруг ложка старика замерла в воздухе, и он, наклонив свое широкое тело с морщинистой головой, заглянул в полосу света, наискось падавшую от двери в сумерки комнаты. Все прислушались. Снаружи доносился какой-то шорох, как будто ночная птица на лету мягко задевала крыльями бревенчатый сруб; но солнце только еще садилось, да и ночные птицы редко залетали в деревню. И вновь послышались странные звуки, на этот раз словно какой-то крупный зверь бродил вокруг дома, и через все стены доносились его беспокойные шаги. Алеша тихо поднялся, но в тот же миг что-то темное и громоздкое загородило свет с той стороны двери, в один миг прогнав из избы вечер и впустив ночь, - и осторожно, как огромный медведь, двинулось вперед.

"Это Остап", - сказала уродица своим сварливым голосом. Теперь все узнали его. Это был один из слепых кобзарей, старик, ходивший со своей двенадцатиструнной бандурой по деревням и певший о великой славе казаков, об их храбрости и верности, об их гетманах Кирдяге, Кукубенко, Бульбе и других, - и везде любили его слушать. Остап трижды низко поклонился в том направлении, где он предполагал святой образ (это была Знаменская - к ней он и обратился, не зная об этом), потом сел у печи и спросил тихим голосом: "У кого это я?" - "У нас, батюшка, у Петра Акимовича, сапожника", - приветливо ответил Петр. Он был большой охотник до песен и потому очень обрадовался нежданному гостю. "А, у Петра Акимовича, который образа пишет", - сказал слепой, чтобы тоже показать свое дружеское расположение. Потом стало тихо. В шести длинных струнах бандуры зазвучал нежный напев, он ширился, рос, и вдруг, перейдя в короткие струны, словно в изнеможении упал навзничь, - и так повторилось снова, и еще, и еще, во все убыстряющихся переборах, так что наконец слушающие прикрыли глаза, словно боясь вдруг увидеть, как упадет замертво эта стремглав куда-то несущаяся мелодия; но тут звуки стихали,

уступая место прекрасному, густому голосу кобзаря, который сразу заполнил собою весь дом и долетел до соседних изб, так что перед дверью и под окнами стали собираться соседи. Только на этот раз не о героях повел Остап свою песнь. Велика была уже слава Бульбы и Остраницы и Наливайко. И в веках нерушима осталась казачья верность. Но не о подвигах их была эта песнь. И задорный казачий пляс, казалось, уснул беспробудно в слушающих людях: никто не притопнул ногой, не повел плечами. Лишь головы низко склонились, как склонились седины Остапа, словно отяжелев от скорби, которой полнилась песнь:

 Нет больше

 правды на свете. Правда, кто ныне отыщет

 ее? Нет больше правды на свете. Кривда

 пятой беззаконной повсюду ее попирает.

 Ныне цепями окована правда. А кривда

 смеется над нею, смотри: входит со смехом

 в панские кривда палаты и восседает с

 панами за широким столом.

 Правда лежит за порогом и стонет. Но у

 панов поганая кривда в почете. И они

 привечают ее с улыбкой и потчуют кривду

 заморским вином.

 Правда, о матушка-правда, когда-то ты

 снова расправишь орлиные крылья! Придет

 еще тот, что восстанет на кривду. Бог

 поможет ему, один только Бог его на

 праведный путь наставит.

 С трудом поднялись головы; на лицах застыло молчание, это увидели даже те, что хотели заговорить. А чуть погодя в этой напряженной тишине вновь заговорила бандура, и теперь уже ее речь была понятнее людям, которых становилось все больше. Трижды пропел Остап песнь о правде. И каждый раз это была новая песнь. Если сначала это была жалоба, то потом в ней послышался укор; когда же кобзарь, высоко вскинув голову, запел ее третий раз, она стала цепью коротких приказов, и необузданный гнев вырывался из раскаленных слов, чтобы широким трепещущим пламенем разгореться в душах людей.

 "Где собирается войско?" - спросил один из парней, когда певец поднялся. Старик, которому были известны все передвижения казаков, назвал место поблизости. Мужчины поспешно разошлись, и вскоре отовсюду послышались короткие оклики, бряцание ружей, а у ворот зарыдали жены. Через час отряд вооруженных крестьян вышел из деревни по направлению к Чернигову.

 Петр, в надежде побольше узнать от кобзаря, поднес ему ковш молодого вина. Старик сел, выпил, но на многочисленные вопросы сапожника отвечал односложно. Потом поблагодарил и попрощался. Алеша проводил слепого за порог. Когда они вышли из дома и оказались одни в темноте ночи, Алеша спросил: "А всем ли можно идти на войну?" - "Всем", - сказал старик и быстро зашагал прочь, словно прозрел в ночи.

 Когда все уснули, Алеша поднялся с печи, где он лежал, не раздевшись, взял ружье и вышел из дома. Во дворе он почувствовал, как кто-то обнял его и нежно поцеловал в волосы. Оглянувшись, он в свете месяца увидел Акулину, тут же торопливо засеменившую в дом. "Мать", - удивился он и непривычные чувства всколыхнулись у него в груди. С минуту он постоял в нерешительности. Где-то скрипнула дверь, в соседнем дворе залаяла собака. Алеша вскинул ружье и уверенно зашагал прочь: он рассчитывал еще до рассвета догнать своих. В доме же все сделали вид, будто не заметили его ухода. Лишь когда они вновь сели за стол, и Петр увидел, что алешино место пустует, он поднялся, прошел в угол и зажег перед Знаменской свечку. Совсем тоненькую свечку. Уродица пожала плечами.

 Тем временем Остап, слепой старец, уже пришел в другую деревню и тихим, жалобным голосом начал скорбную песнь о правде.

 Больной, немного подождав, удивленно взглянул на меня:

 - Почему же Вы не заканчиваете? Ведь здесь как в истории об измене.

Этот старик был Бог.

 - О, этого я не знал, - сказал я, вздрогнув.